

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

К 100-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Если искать духовное и литературное соответствие Александру Блоку в XIX веке, то невозможно будет не назвать Аполлона Григорьева, о котором он писал, что это “единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост”.

В 1915 году Блок составил том стихотворений Аполлона Григорьева, написал к нему предисловие и снабдил его своими примечаниями, одно из которых чрезвычайно характерно для мыслей и переживаний Блока в это время:

“Составителю этой книги ещё зимой (1915 г.) привелось услышать в уличном театре “Миниатюр” в Петрограде, в оперетте “Цыганские песни в лицах” (либретто Куликова) слова:

*Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки...*

Актёр, певший эти слова, конечно, не подозревал о том, чьи они. Буйный Григорьев, всю жизнь друживший с цыганством, так и живёт до сей поры без имени, на улице, в устах бедного работника маленькой сцены. Не лучше ли для поэта такая память, чем том критических статей и мраморный памятник?”

Григорьевская “нота” сплошь и рядом проникает в музыкальную блоковскую симфонию, насыщаясь жёсткой и беспощадной интонацией.

*Глаз молчит — золотистый и карий,
Горла тонкие ищут персты...
Подойди. Подползи. Я ударю.
И, как кошка, ощерись ты.*

Но если взять ключевое блоковское слово “музыка” — становится очевидно: вся лирическая проза и литературная критика Блока выдержана в музыкальной тональности Аполлона Григорьева.

“Растительная поэзия” — термин Григорьева, положившего жизнь на утверждение художественного произведения, как единого живого организма, нашёл прямой отклик в критике Блока:

“Писатель — растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, — так душа

писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние результаты подземного роста души... Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы, подземного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь брожением среды...”

Стены старого Кремля говорили с ним “внятно, ласково, от них обведало его “что-то растительное”... Как же близко это самому Блоку!

“Страшный мир” Петербурга, воплощённый в стихах, статьях и прозе Блока, был предсказан Григорьевым в процитированных Блоком его статьях из журнала “Время”:

“Совсем юношей, двадцати одного года, приехал Григорьев в Петербург. Город кинулся ему навстречу всеми своими страшными прелестями.

“... Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, я перенесён в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его miraжной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербургская литература... В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние – но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тусклым и довольно грязным... странно-пошлый мир”.

“Иная, совсем иная ночь в городе, который называют головою России... Вас, разумеется, тоже выгнало что-то из дому, но это что-то – не хандра русского человека, не бесконечная жажда жизни, не беспредметная любовь – нет, просто пошлая, бесстрастная скука; просто врождённое во всяком истом петербуржце отвращение от домашнего очага...”

И как тут не вспомнить блоковское “Безвременье”, где скука обретает образ затягивающей и удушающей паутины?

“Нет больше домашнего очага. Необразимый липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого Века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – всё заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь.

Но и на площади торжествует паучиха.

Мы живём в эпоху распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон. Мне часто кажется, что наше общее поприще – давно знакомый мне пустой рынок на петербургской площади, где особенно хищно воеет вьюга вокруг запертых на ночь ставен... Смерть зовёт взглянуть на свои обнажённые язвы и хохочет промозгло, как будто вдали тревожно бьют в барабаны...”

Создаётся впечатление, что этого Блока сегодня не хотят ни знать, ни слышать. Так же, как в своё время не хотели ни знать, ни слышать Аполлона Григорьева, родство с которым Блок жестоко и болезненно ощущал во всё время работы над его поэтическим наследием.

“Григорьев на скамеечке у ног “полной и красивой блондинки”, которой он декламирует монологи Гамлета, называя её Офелией” – это Блок периода “Стихов о Прекрасной Даме”. “Пьяный угар; женщины, хандра, скука, восторги, гитара, цыгане” – это Блок “Снежной маски” и “Страшного мира”. “Новый мир “органической критики”, призрак будущего великого здания, которое так и не было построено”, достраивалось в статьях Блока, позже объединённых им в книгу “Россия и интеллигенция”, которую он составлял в 1918 году (одновременно работая над заметкой “Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве”) и к которой предпослал многое объясняющее предисловие:

“Россия здесь – не государство, не национальное целое, не отечество, а некое соединение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее (как гераклитовский мир) и, однако, неизменяющееся в чём-то самом основном. Наиболее близко определяют это понятие слова: “народ”, “народная душа”, “стихия”, но каждое из них отдельно всё-таки не исчерпывает всего музыкального смысла слова Россия...”

“... Вплотную подступающая “радость”, мир “гимнов” к Розе и Мудрости, никем не понятых вплоть до наших дней”, – это Блок “Розы и Креста”, драмы, которую он мечтал поставить в Художественном театре Станиславского, когда писал великому русскому артисту и режиссёру огненное письмо, протягивающее нервушущую нить к григорьевскому почвенничеству.

“Ведь тема моя, я знаю теперь это твёрдо, без всяких сомнений, – живая, реальная тема; она не только больше меня, она больше всех нас; и она всеобщая наша тема. Все мы, живые, так или иначе к ней же придём. Мы не пой-

дем, — она сама пойдёт на нас, уже пошла. Откроем сердце, — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое “татарское” иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, “декадентской иронии” и пр., и пр., всё то иго, которое мы, “нынешние”, в полной мере несём.

Не откроем сердца — погибнем (знаю это как дважды два четыре). Полторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы “Великой России” (по Струве) ни воздвигли. *Свято нас растопчет*, будь наша культура — семи пядей во лбу, не останется от неё камня на камне.

В таком виде стоит передо мной моя тема, тема о России (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Всё ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и знаю, что путь мой в основном своём устремлении, как стрела, прямой, как стрела, действительный. Может быть, только не отточена моя стрела. Несмотря на все мои уклонения, падения, сомнения, покаяния, — я иду. И вот теперь уже (ещё нет тридцати лет) забрезжили мне, хоть смутно, очертания целого. Недаром, может быть, только внешне наивно, внешне бесвязно произношу я имя: Россия. Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель. К возрождению национального самосознания, к новому, иному “славянофильству” без “трёх китов” (или, по крайней мере, без китов православия и самодержавия) и без “славянства” (этого не предрешаю, но мал ведь и мало реален вопрос хотя бы о Боснии и Герцеговине) влечёт, я знаю, всех нас”.

“Без кита православия”... Здесь — хочешь не хочешь — задумаешься об отрочении Блока к Христу.

Ещё ранее он писал Евгению Иванову:

“Вам в *вашем* гораздо больнее меня. Но и мне в своём больно. Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его не знаю и не знал никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то жёлчное, то равнодушное...”

“Я и написать не могу всего, но то, чего я не могу высказать ясно, вертится всё близ одного: хочу действительности, чувствую, что близится опять *огонь*, что жизнь не ждёт (она не успеет ждать — он сам прилетит), хочу много ненавидеть, хочу быть жёстче. И всё-таки это не совсем так; если узнаю ещё, напишу больше. Близок *огонь* опять, — какой — не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа. Пиши, что в тебе теперь ответит мне, не торопись писать. Если б ты узнал лицо русской деревни — оно переворачивает; мне кто-то начинает дарить оружие... Может быть. Может быть, будет хорошо, кругом много гармонии...”

В его раннем отречении от Христа, как он сам признавал, не было “огня”. Но и в окружающей его жизни неуклонно потухал религиозный огонь.

Вот как свидетельствовал об этом Сергей Фудель в своих воспоминаниях: “Признаки духовной жизни уже давно замирали везде.

На днях один старый священник сказал мне: “Мы, выжившие из прежних семинарий, были в большинстве атеистически настроены”. Я думаю, что в этом определении есть некоторое преувеличение: не “атеистически настроенные”, а равнодушные люди выходили оттуда. Но, конечно, от этого не легче, имея в виду, что именно эти равнодушные люди должны были блюсти угасающий огонь христианства в России и учить этому огненному учению народ.

Как пишет в своих воспоминаниях об отце Л. Тихомиров: “В конце концов от всех надежд остался только чад потухших плашек да убеждение, что правительством ничего доброго не умеет ни понять, ни совершить”.

Если в 1891 году отец ещё мог писать Леонтьеву: “Я верю в чисто религиозное призвание России и желаю только одного его”, — то теперь пошатнулась окончательно вера и в это “только”. “Святая Русь” умирала изнутри, идея сохранения христианства в массах терпела страшное крушение. И вот началось у него в этот последний период его жизни точно какое-то иссыхание души, как растения, лишённого подземных родников”.

Огонь начал полыхать в душе поэта во время переписки с Николаем Клюевым, во время работы над наследием Аполлона Григорьева...

“Лиси язвыны имут, и птицы гнезда; Сын же человеческий не имать где главы подклонити. Так и наши воззрения, или, лучше сказать, наше внутреннее чувство, — цитировал его Блок. — Никто не знает и знать не хочет, что

в нём-то, то есть *Православии* (понимая под сим *равно* Православие отца Парфения и Иннокентия — и исключая из него только Бецкого и Андриюшку Муравьёва) заключается истинный демократизм”.

Григорьев по дурной интеллигентской привычке всё иронизирует, всё подсмеивается; а всё-таки к отцу Парфению прислушивается. Правду, правду говорит отец Парфений. . .”

В полную силу это пламя раздул революционный вихрь.

“Учение Христа, установившего равенство людей, выродилось в христианское учение, которое потушило религиозный огонь и вошло в соглашение с лицемерной цивилизацией, сумевшей обмануть и приручить художников, и обратиться искусство на служение правящим классам, лишив его силы и свободы. . . Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества” (“Искусство и революция”).

Жёсткое, во многом устрашающее продолжение этой мысли — в “Исповеди язычника”:

“Не знаю, надолго ли, но русской церкви больше нет. Я и многие подобные мне лишены возможности скорбеть об этом потому, что церкви нет, но храмы не заперты и не заколочены; напротив, они набиты торгующими и продающими Христа, как давно уже не были набиты. Церковь умерла, а храм стал продолжением улицы. Двери открыты, посередине лежит мёртвый Христос. Вокруг толпятся и шепчутся богомолки в мужских и женских платьях: они спекулируют; напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже открыты; там сидят за столиками люди с испытанными лицами и тусклыми глазами; это картёжники, воры и убийцы; они тоже спекулируют. Спекулянты в церкви продают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они понимают друг друга.

В кофейню я ещё зайду, а в церковь уже не пойду. Церковные мазурики для меня опаснее кофейных.

Но я — русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно равнодушен к ней; одни её очень ненавидят, а другие любят; то и другое с болью.

И я тоже ходил когда-то в церковь. Правда, я выбирал время, когда церковь пуста, потому что обидно и оскорбительно присутствовать при звероголовании нестриженных и озабоченных наживой людей. Но в пустой церкви мне удавалось иногда найти то, чего я напрасно искал в мире.

Теперь нет больше и пустой церкви.

Я очень давно не исповедался, а мне надо исповедаться. Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идёт к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты. . .”

Христос в финале “Двенадцати” — тот Христос, который десятилетием назад “плыл в челне” навстречу поэту, тот, о Ком пели деды-староверы, когда “рубил сруб горячий”. . . Тот — “и за вьюгой невидим, и от пули невредим”, — Кто единосущен со всей взбунтовавшейся природной стихией.

Казалось бы, Его Пришествие невозможно. . . Но Он пришёл во время, которое русские поэты воспринимали, как время после Апокалипсиса (“И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и земля миновали”). Так воспринимал происходящее Николай Клюев. Так воспринимал происходящее Сергей Есенин.

О религиозном пафосе русской революции не было сказано ни слова в дни её столетия. И это не случайно, как не случайно и то, что в это же время не вспоминали Блока.

Блок Его в самом деле видел, что недвусмысленно и чётко подчеркнула Евгения Иванова в недавно вышедшей очень ценной книге “Январская трилогия Александра Блока. “Интеллигенция и революция”. “Двенадцать”. “Скифы”:

“Блок описал то, что он увидел. В воспоминаниях Н. А. Павлович воспроизводится более поздний разговор с Блоком о финале поэмы, относящийся к началу зимы 1920 года, и опять он говорил о том же самом: “Смотрю! Христос! Я не поверил — не может быть Христос! Косой снег, такой же, как сейчас (он показал на вздрагивающий от ветра фонарь, на полосы снега, света и тени). Он

идёт. Я всматриваюсь — нет, Христос! К сожалению, это был Христос, и я должен был написать”...

(Искренне жаль, что следуя на протяжении почти всей книги за мыслями Блока, автор вдруг сбивается и вносит явно диссонирующую ноту: “Связав своё имя с политикой, Блок изменил назначению поэта, и хотя в результате было создано произведение гениальное, роль, которую сыграла поэма, была соблазном для многих, несмотря на то что создавал её Блок в “согласии со стихией”...”

Назначению поэта Блок не изменял ни на одно мгновение своей жизни.)

“Поймите, хотя я говорю это, говорю с болью и отчаянием в душе; но пойти в церковь всё ещё не могу, хотя она зовёт” (из письма Блока Н. А. Нолле-Коган от 8 января 1921 года).

* * *

“Всё описанное кажется слишком противоречивым и несовместным. Такого рода душевное богатство, естественно, стало казаться литераторам неприличным беспорядком, и Григорьева стали пощипывать”, — писал он в статье “Судьба Аполлона Григорьева”. “Какой он “одиноким”, — возмущался Блок, — когда в нём сидит целый легион?” Такой же легион сидел и в самом Блоке — непонятно и отвергнуто многими современниками, в том числе и бывшими друзьями.

Очень скверно мы прочитали Блока в период очередных “бури и натиска” — в период пресловутой “гласности”. Иначе обратили бы внимание на цитаты Григорьева, которые приводил и комментировал Блок в своём сочинении о нём:

“Гласность, свобода — всё это в сущности для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность “Искры”, свобода “Русского Вестника” или теоретиков — неужели в серьёзные минуты самоуглубления можно верить в эти шутки?”

“Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов, — и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии, и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности”.

Блок совершенно не идеализировал своего героя. Он писал о том, как в григорьевских письмах “борются не на жизнь, а на смерть интеллигентская скудость и темнота с каким-то высшим просветлением”. Но процитированные выше куски он относил именно к “высшему просветлению”. “Какая глубина мысли!.. И какая близость с самой яркой современностью, с “Опавшими листьями” Розанова... Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в “прогрессивных”, ни в “ретроградных”, — по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то “Новом времени” (ничто не ново под луной — всё повторяется из десятилетия в десятилетие. — С. К.). Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только “Опавшие листья” увидят свет Божий (пророческие слова. — С. К.)... Живых не слышите, может быть, хоть мёртвого послушаете. — Во всём этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость”.

Василий Розанов, о котором Блок написал эти драгоценные слова, никогда не был единомышленником поэта, более того, писал о нём раздражённо и зло. Блок же, отдавая ему должное, словно предвидел посмертную судьбу многих своих сочинений. Розанов писал о Григорьеве: “Как и творец “Русских ночей” князь Одоевский, Аполлон Григорьев также был выброшен из литературы русской в качестве “несогласно мыслящего” и поставлен “вне чтения” господствующими корифеями — Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым, Благовестловым и вообще “нашим кабачком”. “Вне читаемости” ему в сущности было гораздо лучше, чем если бы его стала читать бегущая вперёд масса “разрушителей эстетики” и “уничтожителей Пушкина”. В сущности, быть не читаемым — иногда очень хорошо. Пусть прокатится мутная волна. В свежем утра встанет писатель потом, ничем не загрязнённый, не изломанный... Судьба — вполне Одоевского. Или — монастырь и схима, или “выпей с нами в кабачке”...”

А когда “кабачка” не получается, когда “музыка” слышится досадной помехой, тогда посмертный том литературной критики поэта сопровождается статьёй маститого учёного, открывающего её соответствующей инвективой:

“Странное чувство неизбежно охватит читателя наших дней, когда он страницу за страницей будет посматривать книгу критических статей и рецензий А. Блока.

Когда всё это писано? С изумлением видит он: всего двадцать-двадцать пять лет тому назад. Как это недавно... Многие из нас ещё помнят те дни, когда на страницах символистских журналов впервые печатались эти “лирические по поводу”, как сам А. Блок называет свои критические статьи...

В то же время как безнадежно устарели они, какая затхлая пыль далёкого чужого прошлого подымается с этих страниц! Ничего подобного читатель не испытает, когда он откроет том Белинского, Добролюбова, Чернышевского, если даже его глаз остановился на рецензии о самой скучной, забытой книге; такие рецензии приходилось писать Добролюбову, а ещё чаще Белинскому...

Так писал Василий Десницкий в 1935 году. В точности, как у Розанова: “Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: “Охота вам читать эту мертвечину — Ап. Григорьева!” Я скоро после этого перестал с ним видеться, так он мне стал гадок своей казённой честностью, казёнными убеждениями, казённой добротой, казённым умом. Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко национальное ярмо, — почтенна и плодоносна, но — бесплодна и жалка наша.

Впрочем, ещё раньше нечто подобное было и у Тынянова: “Литературные” выступления Блока в подлинном смысле слова никем не зачитываются в облик Блока. Едва ли кто-нибудь, думая о нём сейчас, вспомнит его статьи.

Здесь органическая черта. Тогда как у Андрея Белого проза близка к стиху и даже крики его “Дневника” литературны и певучи, у Блока резко разделены стихи и проза: есть Блок-поэт и Блок-прозаик, публицист, даже историк, филолог”.

Но если кто-нибудь решит, что подобное звучало о Блоке именно в годы советские — он совершит тяжкую ошибку. Задолго до Десницкого подобным образом разбиралась со статьёй “Судьба Аполлона Григорьева” Зинаида Гиппиус:

“Отношения либералов к Ап. Григорьеву во всей полноте я не знаю. На Блока в данном случае опираться опасно. Думаю, до объективно-точных фактов всё равно не доберёшься. Достаточно и того, что мы знаем: “травля” (как называет Блок отношение “либералов” к А. Григорьеву) была. Эти “узкие” люди предьявляли к “широкому” А. Григорьеву требования, на которые он не мог или не желал ответить; какие требования? Из статьи Блока ясно: требовали, по праву сильных (ведь они были “властители дум”), чтобы Григорьев отрёкся от ненавистной широты ради их “узости”. Не смел думать о “Шекспире”, если есть “сапоги”. Словом, обязывали его принять свой “либеральный лубок”...”

Вывели из себя Гиппиус следующие слова Блока:

“... Из той же “борьбы” возникла и встала в душе Григорьева рядом с первой несчастной любовью — вторая несчастная любовь: любовь к родине, к “почве”. Так бывает в середине жизни. В народных песнях, в Гоголе, в Островском открылось ему то “безотчётное, неодолимое, что тянет каждого человека к земле его”. За резкие слова об этой любви, всеми и всегда гонимой у нас (разрядка моя. — С. К.), Григорьеву доставалось довольно и в то время, и в наше. Бог судья тем людям, которые усмотрели опасный “национализм” (так, что ли?) в наивных стихах “Рашель и правда” или в страстных словах, подслушанных, например, Григоровичем (“Шекспир настолько великий гений, что ожжёт так уже по плечо русскому человеку”).

Так как любовь Григорьева была, как и все его любви, бескорытна и страстна, то он и не взял от неё ничего, кроме новой обиды и нового горя...”

Гиппиус же судила и Григорьева, и Блока с “колокольни общественности”.

“Дело вот в чём: быть “человеком” — значит уметь сделать выбор, быть на него способным, то есть способным и на жертву, так как без жертвы нет выбора. И в этом выборе, в этой жертве надо уметь за себя отвечать...”

Белинский, Чернышевский, Писарев — все эти “либералы” так называемые, свой человеческий выбор сделали. Тут же прибавляю (ещё не судя выбора как выбора), что его сделали, в равной степени, и Погодин, и Катков, и Леонтьев... только не сделали Аполлоны Григорьевы. В конце концов даже

Фет, в меру своего “человечества”, сделал весьма определённый выбор. И никакой “травли” на него не было, не вышло. Вообще между людьми разного выбора, но равно-людьми возможна только борьба, а “травля” даже не мыслится. И есть победители, есть побеждённые, но “затравленных” нет. Человека, если он не потерял человечества, ни “травить”, ни “затравить” нельзя.

Вот эта волевая, активная жертвенность (окрашенная в цвет своего времени) и была у “либералов”. Она-то и делала их “узкими”, по сравнению с Ап. Григорьевым, — но узкими на неисторичный, неподвижный взгляд хотя бы того же Блока.

Легка ли была жертва (пусть вполне бессознательная, интуитивно волевая) тогдашним “либералам”? Возьмём самых значительных, подлинных “властителей дум”. Но ведь о них-то и говорит Блок, они-то и “травили” Григорьева, гнали, пользуясь властью, которая у них была; у Григорьева, по признанию Блока, “власти не было”. Но оттого ли и не было, что власть покупается волевой жертвенностью?..”

Мадам требовала сделать или “правый”, или “левый” выбор. И вывод делала более чем категоричный:

“...Ни торопливой злобы, ни легкомысленного суда над современниками Григорьева и своими собственными, ни детски узкого взгляда на историю — ничего я Блоку не прощаю. Статья “Судьба Ап. Григорьева” стоит самой суровой отповеди, самого резкого отрицания за те её места, где “поэт”, по старой привычке к безответственности, к штампу “всё позволено”, позволяет себе злобу и дешёвые насмешки над подлинным страданием. Оно ему “не нравится” — зачем и глядеть внимательно? Довольно простой, заезженной издёвки.

Думаю, единственная помощь, которую можно оказать и Блоку, и всем нашим теперешним писателям-поэтам, которым тесно и больно, которые хотят стать людьми, это *ничего им не прощать*. Не улыбаться снисходительно, а слушать, сурово судить ошибки; идти навстречу их требованиям к себе; т. е. того же, во всю силу, *требовать* от них. Не на благоговении (и презрении) — на равенстве строится человечность. На разно- и *равно*-ценности человека, лица, личности, за себя отвечающей и принимающей вместе со своими правами — свои обязанности”.

В этой же тональности — абсолютно — потом она будет писать о Блоке — авторе “Двенадцати”.

Были, впрочем, в нашей литературе персонажи, превзошедшие в этом отношении и Гиппиус. К таковым, в частности, относился Абрам Лежнев — автор замечательной по-своему книги (в том смысле, что не заметить её было нельзя) “Два поэта. Гейне. Тютчев”, где, кроме названных в заглавии, фигурируют и Герцен, и Аполлон Григорьев, и Блок.

“Казалось бы, что общего между публицистом-революционером, душевно неустроенным автором органической критики и поэтом “Прекрасной Дамы”? Но как ни различны в своё бытие, в своё историческом значении эти три человека, общее было: стремление к “почвенничеству”. Степени его неодинаковы. Несходны мотивировки и цели. Но выражается оно у всех трёх в родственной форме: народности, тяги к национальной самобытности. В наиболее сильном и откровенно виде она присутствует у Ап. Григорьева... Она ослаблена и своеобразно деформирована в скифстве Блока. Она приобретает социалистическую окраску у Герцена, ищущего в устоях русского народного быта противоядия победительному мещанству Запада. Но при всей разности идейных мотивировок есть здесь близость психологических предпосылок: привязанность, участливость, нежность, иногда скрываемая даже от самого себя, к быту, к традиции, к обычаю страны, к её “заветному” и “особенному”...”

Вот это “заветное” и “особенное” пробуждало у Лежнева (героя совершенно апологетического сочинения Галины Белой о критиках “Перевала”) простотаки патологическую ненависть.

В идеях Аполлона Григорьева, утверждал он, “есть элементы будущих фашистских концепций. Порочна сама попытка судить о писателе с точки зрения народного духа...”

...Прошли десятилетия — и со временем отношение к статьям Блока понемногу изменилось у самых “ортодоксальных” литературоведов. Но указания на Белинского, Добролюбова, Чернышевского — на авторов, до которых “не дотягивал” Блок, — сохранялись в своей неприкосновенности.

И здесь Блок был полностью солидарен с Григорьевым.

“Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем всё, что являлось на свет Божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев... Поглумились над Григорьевым в своё время и Добролюбов, и Чернышевский, и их присные. Как при жизни, так и после смерти Григорьева, о глубоких и серьёзных его мыслях рассуждали всё больше с точки зрения “славянофильства” и “западничества”, “консерватизма” и “либерализма”, “правости” и “левости”. В двух соснах и блуждали до конца века; а как эти мерила к Григорьеву неприложимы, понимание его и не подвигалось вперёд...”

“Пока не пройдут Добролюбовы (в подлиннике – несколько имён, а слово “пройдут” принадлежит редактору; у Григорьева – несколько крепких ругательств. – **Прим. Блока**), честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать, потому что негде, потому что повсюду гонят истину, а обличать тушинцев (так Григорьев называл либералов вообще. – **Прим. Блока**) совершенно бесполезно. Лично им это, как стенке горох, а публика тоже вся на их стороне”.

Он цитировал эти слова Григорьева в 1915-м, подкрепляя их в 1918-м: “Раз мы издаём письмо Белинского к Гоголю отдельной брошюрой, не грех было бы также издать письма Григорьева к Гоголю. Право, они не менее содержательны, чем письмо Белинского. Пока это не сделано, пока Григорьев под спудом, а Белинский – у “всех” на устах, я не могу отдать справедливости Белинскому, я не могу простить ему его невольного греха. Если бы я был историком литературы, бесстрастным наблюдателем, я, может быть, оценил бы Белинского: но пока я страстно ищу в книгах жизни, жизни настоящей (в обоих смыслах), а не прошлой, я не могу простить Белинского; я кричу: “Позор Белинскому! Это не преувеличено. Пусть Белинский был велик и прозорлив во многом; но совершив великий грех перед Гоголем, он, может быть, больше, чем кто-нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская интеллигенция покатила вниз по лестнице своих российских западных надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больше – о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917-1918 годов”.

И здесь невозможно не обратить особое внимание на слова Блока о гоголевских “Выбранных местах из переписки с друзьями”: “Гоголевская книга написана “в миноре”; её диктовали соблазны православия, болезнь, страх смерти, – да, всё это так; но ещё её диктовал гений Гоголя, та неузнанная доселе и громадная часть его, которая перелетела через десятилетия и долетела до нас. Мы опять стоим перед этой книгой: она скоро пойдёт в жизнь и дело”.

Пошла ли? Как тут не вспомнить хотя бы реакцию на “жэзээловскую” книгу Игоря Золотусского “Гоголь”?

“Откройте Гоголя, нового Гоголя, не урезанного Белинским, – взывал Блок, – прочтите его книгу без “западнических” шор, и вы многое поймёте по-новому. Откройте, наконец, вместе с Гоголем, его благоговейного истолкователя Аполлона Григорьева и убедитесь, наконец, что пора перестать прозёвывать совершенно своеобразный, открывающий новые дали строй русской души. Он спутан и тёмнен иногда; но за этой тьмой и путаницей, если удосужиться в них взглядеться, вам откроются новые способы смотреть на человеческую жизнь”.

* * *

“Интеллигент, который сидел в Григорьеве, так и не был побеждён до конца Григорьевым-поэтом...” Блок – победил, и окончательно его победа стала явной в “Двенадцати” и “Скифах”. Потому их и прокляла та интеллигенция и продолжает проклинать нынешняя.

“В целом “Двенадцать” надо рассматривать в контексте последних судорожных метаний больного Блока между преображением тела и революцией власти, между Распутиным и Лениным... “Двенадцать” сегодня не очень интересны. Телесность в современном дискурсе радикально отлична от телесности у Блока, впрочем, как и революция”. Это – Александр Эткинд. Журнал “Знамя”. Рубрика “Финал “Двенадцати” – взгляд из 2000 года”.

“Тушинец” Эткинд словно предчувствует перемены после 1990-х (“золотое” для либералов время!) и пытается их заковать. Настоящая ненависть к Блоку прорывается в разговоре о “Скифах” (впрочем, здесь автор выступает своеобразной тенью Абрама Лежнева):

“Если кто хочет искать у Блока подтверждение или опровержение тревогам текущего момента, пусть читает “Скифов”. Это основополагающий текст недо-развившегося, но вечно актуального русского фашизма, его “Майн Кампф”. Это любимые стихи левых эсеров, евразийцев, сменовеховцев и возвращенцев... Я не знаю, как относятся к Блоку и “Скифам” нынешние национал-большевики, но всячески рекомендую читать и ссылаться. Не удивлюсь, когда “Скифов” начнёт цитировать администрация”.

В самом деле – какой это будет ужас! Даром, что “администрация” так и не “начала цитировать”...

А как же “нам внятно всё: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений” (подспудное воспоминание о шелленгианстве Григорьева)? А как же “Пока не поздно – старый меч в ножны! Товарищи! Мы станем – братья!”? У “тушинцев”, разбивших себе головы о западнические ступеньки, это свидетельство некоей “особой любви”: “...“Скифы” и скифство – не просто национализм, каких много, но расизм с его жестокостью, простотой классификаций, незнанием компромиссов, лживыми апелляциями к слишком далёкому прошлому”... И “замечательный” финал: “...“Скифы” не стоит запрещать (спасибо и на том! – С. К.), просто их не надо больше учить в школе”.

Эткинд явно заплутал. В поисках расизма ему следовало бы обратиться к другим источникам.

Например:

“С основанием нового государства, которое провозгласило расовый принцип, мы хотим приспособить наше сообщество к этим новым структурам... Мы не хотим недооценивать эти основные принципы, потому что мы тоже против смешанных браков и за сохранение чистоты еврейства” (из меморандума “Сионистской федерации Германии”, посланного 21 июля 1933 года руководству нацистской партии).

Или:

“Горькая ирония судьбы пожелала, чтобы те же самые биологические и расистские тезисы, которые пропагандировались нацистами и вдохновляли позорные нюрнбергские законы, стали основой для определения принадлежности к иудейству в государстве Израиль” (Хаим Коэн, член Верховного суда Израиля. Цит. по: Дж. Бади. Основные законы государства Израиль. Нью-Йорк, 1960).

Или:

“Бегин, несомненно, человек гитлеровского типа. Это расист, желающий уничтожить всех арабов во имя мечты об объединении Израиля, готовый использовать все средства для достижения этой святой цели... Его можно обвинять в расизме, но тогда надо было бы устроить процесс над всем сионистским движением...” (Давид Бен Гурион. Цит по: Хабер Э. Менахем Бегин, человек и легенда. Нью-Йорк, 1979).

Может, не надо вносить путаницу в умы, Александр Ефимович?

Впрочем, бывает и по-другому.

На страницах “Нового литературного обозрения” одна известная критикесса ничтоже сумняшеся вещала, что ныне о великих произведениях можно забыть – ничего страшного, что их нет. Главное – в другом: “Ни одна блоха не плоха. Все чёрненькие, все прыгают. Это и есть свобода”

Кажется, самое время перечитать слова Блока о назначении художника:

“Я говорю о писателях, особенно об эстетях, уставших ещё до начала своей карьеры, и преимущественно об эстетях самого младшего поколения; о тех, которым неугодно сознать то, что их жизнь должна быть сплошным мучительством – тайным или явным, что они должны исколоть руки обо все шипы на стеблях красоты, что им нельзя ни одной минуты отдыхать на розовом ложе, не их руками разостланном. Они должны знать, что они – ответственные, потому что одарены талантами; что, если они лирики, они должны мучиться тем, что сидят в болоте, освещённом розовой зорькой; если беллетристы – тем, что никто из них, будь он марксистом или народником, не указал до сих пор даже того, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как быть; если драматурги – тем, что ни одна из современных драм не вознесла души из пепла будней и ни один не вспыхнул очистительный костёр; если же они – “представители религиозного сознания”, то они должны мучиться больше всех: тем, что они уже несколько лет возвещали какие-то гордые истины с кафедры религиозно-философских собраний,

самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладострастно полемизировали с туполобыми попами, что в этом году они вновь возобновили свою болтовню (и только болтовню), зная, что за дверьми стоят нищие духом и что этим нищим нужны дела (“Литературные итоги 1907 года”).

“Безумная русская литература — когда же наконец станет тем, чем только и может быть литература, — *служением!* Пока нет у литератора элементарных представлений о действительном значении ценностей — мира и человека, — до тех пор, кажется, никакие свободы нам не ко двору, всё раздирается на клочья, ползёт по всем швам; до тех пор как-то болезненно принимает душа всякую пестрядь, хотя бы и пышную, требуется только тихое, молчаливое, пусть сначала одинокое — “во Имя” (“Литературный разговор”. 1910).

“Ему в голову не приходило, что никаких чисто “литературных” школ в России никогда не было, быть не могло, и долго ещё, надо надеяться, не будет; что Россия — страна более молодая, чем Франция, что её литература имеет свои традиции, что она тесно связана с общественностью, с философией, с публицистикой, короче говоря, Н. Гумилёв пренебрёг всем тем, что для русского дважды два — четыре” (“Без божества, без вдохновенья”. 1921).

Может быть, сейчас я вспомню поэта, как принято думать, чрезвычайно далёкого от Блока — Варлама Шаламова, о котором его биограф написал буквально следующее:

“В сущности, все его эскапады против “гуманистической” (читай: народнической) литературы имеют одну цель — защиту интеллигенции, которая, на его взгляд, больше всего пострадала во время социальных катаклизмов XX века и репрессий, особенно в 1930-е годы”. Тут же и цитата из “Четвёртой Вологды” на месте: “Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед интеллигенцией”.

“Лучшее, что есть в русской поэзии, — поздний Пушкин и ранний Пастернак”, — цитируется дневниковая запись Шаламова. И биограф продолжает: в Пастернаке “видел не только совесть своей эпохи, но и единомышленника в отношении к искусству”.

Конечно, можно подобрать не одну подобную цитату. Но тогда не стоит пренебрегать целым шаламовским стихотворением — программным для него и потому, как это часто бывает с “программными” стихотворениями, — не лучшим, но без которого, я полагаю, не может обойтись ни одно шаламовское “избранное” (кстати, и по сей день прекрасно “обходятся”).

*Нас водило перо Пастернака,
Но — в какой-то решительный миг —
Обошлось без дорожного знака
Пастернаковских ранних книг.*

*Остановленное поминутно,
Закрепляя любой миллиметр,
Ощутило хотя бы и смутно,
Но настойчиво блоковский ветер.*

*Укрепясь на позициях этих,
Мы опять зашагали вперёд,
Подчинённые Блокову ветру,
Слову Блока: “Поэт и народ”.*